

Сергей Струков

Лоза небес

Сборник рассказов

Сергей Струков

Лоза небес. Сборник рассказов

«Издательские решения»

Струков С.

Лоза небес. Сборник рассказов / С. Струков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-901600-3

Новая книга рассказов русского писателя Сергея Струкова. Книга несёт в себе заряд неукротимого национального духа, великодушие и мудрость народа.

ISBN 978-5-44-901600-3

© Струков С.
© Издательские решения

Содержание

ЖИЗНЬ	10
ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА	11
ЛОЗА НЕБЕС	13
САМОУБИЙСТВО	15
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Лоза небес

Сборник рассказов

Сергей Струков

© Сергей Струков, 2017

ISBN 978-5-4490-1600-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВЕРЁВКА

(притча)

«Дело такое по засухе было, да в стародавние времена. По тем годам ещё многие в храм Божий ходили и молиться умели, не то, что ноня.

Напала засуха окаянная на простой люд крестьянский, истомила землю благородную, испепелила терпение мужицкое.

Вот раз народ из церкви пошёл и на площади остановился, заспорил. Сначала-то начали старики – мужики крепкие, с бородами окладистыми. Мол-де: «Что по нашей волюшке Бог нам не даёт, аще просим? Вот и молиться ходим, и все службы выстаиваем по строгости, по правде? Почему же, – мол, – в засухе живём, и урожай гибнет, и почто нам такое наказание? За какие грехи?»

Разделились. Одни ладят: «Нам по молитве положено! Пусть, де, справедливости ради Бог дождь пошлёт.» Другие противуречат: «Куда там! Всех грехов не перечтёшь, не исповедать. За грехи, – мол, – засуха; за грехи – скорбь!» Разругались. Дело до драки дошло. Ещё бы прямо спичку чиркни – и пожар! Вот только одного дедушку не слушали, который ростом был мал, да все одною рукою за сердце держался, а другою за прясло. Шептал все старый, шептал православным про «волюшку», но никто не слушал.

Шумели мужики, шумели. Да чтоб, значитца, без драки пошло – порешили собороваться. И мол-де тогда опосля, когда от грехов очистимся, тогда и скорбь отнимется, засуха проклятая перестанет быть.

На другой неделе – церковь битком. Позади всех дедушка протискивается, да все про волюшку речь заводит. Но не слушают мужики. Кого за рубаху ни потянет – отворачиваются. Стали собороваться – честь по чести батюшка отслужил – помазал спорщиков по

совести. Кабы то масло все собрать, что на таинство потратили, так одному крестьянину не снести.

Помазался и дедушка. Из церкви расходились: те что «положено за молитву» выжидательно идут, а те что «за грехи – засуха» блаженно, но с опаской. Позади всех старичок тащится, ножками шаркает, за сердце держится, про волюшку бормочет.... Разошлись по жаре по домам, и дома словно надулись. Выжидают мужики да блаженствуют впереди дара Божиего.

Прождали день, промаялись два, посохли и на третий.

А к концу недели недовольство бабахнуло! Те сельчане, что «за справедливое» стояли, орут: «Забыл про нас Бог!»

А которые в себе грехи видели, пересохшие глотки дерут: «Как же так?! Ведь очистились, а дождя не имем?!»

Засуха проклятая! Иссушила ты ум людской и не понимает истины народ в похотах сердца своего; иссушила ты глаза крестьянские, и не видит ими правды мужик; иссушила ты душу и плоть, и не узрят Бога крещёные.

Пуще разволновались сельские. Ярость волнами по толпе переливается, бесам того и надо. Начали демоны простачков подзадоривать. Мол: « Идите, церковь разорите, священника побейте». Мужики такие мысли за свои приняли да вперёд с колами на храм Господень...

При таком безумии народном вот уже рассудительно увидеть скорую погибель поселянскую, как вдруг, в тот самый аккурат, когда на церковь с дубьём двинулись, услышали позади дюже странные слова старичка незаметного: «Эта, чавой-та тама за верёвка у поли болтаеца...?»

Осадили. Оглянулись. Носы вытерли. Глаза протёрли. Дубины с плеч скинули.

На самом деле! Не сойти с этого места! Как есть, верёвка с облака свесилась да над пахотой болтается. Бабы « охнули!» Мужики « ухнули!» Потянулся в поле народ. Сначала пол шажками, потом шагом, а потом вдарились бежать кто скорше.

Вдарились к верёвке той в посохше поле.

Бегут – земли под босыми ногами не чуют. Все молчат, только жар выдыхают, да пот с лица рукавом успевают вытирают. Прибежали и встали как вкопанные. Верёвка с облака на морды свисает...

Молчали, молчали... Смотрели, смотрели... Вдруг бабы, как заголосят! Аж детей испугали. (Те в плач.) Мужики на баб: «Цыц!» Жёны языки прикусили, только, что попискивают и ещё детям рты зажимают, чтоб не плакали, или, того хуже, не смеялись.

Заходили вокруг верёвки, морды запрокинули. Глазами хитрят: мол, нас не проведёшь... Подвох ищут. Были и такие, что удивление своё верёвке не выказали, хотя удивление то и сильно было. А спрятали восхищение внутрь старательно, а наружу одну холодность показали, и ещё рукой махнули, дескать:

«Знаем! На войне и не такое бывало».

Смотрели, ходили, «ухали», а толку не прибавилось. Что с верёвкой делать? И кто виноват, что она с облаков свесилась?! Что за беспорядок такой и где выход? Думали-думали... Бороды чесали, чесали... На баб злились-злились... Пот вытирали-вытирали... Ругались-ругались... Нет выхода! К верёвке подойти, дёрнуть – боятся. И оставлять без решенья – негоже.

Вот старшина деревенский, который раненья на войнах имел, встал под верёвкой и закомандовал: «Покидать диковину без присмотра, дюжа не можно, потому, как какая польза, али какой вред от нея селу собирается, не ведаем. Предлагаю, до поры до времени часового у верёвки поставить, чтоба глядел за порядком и диковинку берег».

Мужики спорить не стали. А бабы своё противление по первости никогда не выказывают. Посему запылили все по хатам, кто как себе знает. Шёл и старичок и всё бормотал: «Ах, кабы по волюшке! Ой-да! по волюшке...»

И вот начали сельчане нести вахту у верёвки. И со временем уж понавыкли так в поле ходить, да столбом подле льняной стоять, что уже позабывать принялись, на что караулить, а то и в недоум, зачем и какая выгода от караула того приобретается честному народу?

Был и батюшка. Водосвятный молебен отслужил и окропил святой водой верёвку ту и тех, кто на молитву пришёл. И, уходя, сказал о верёвке, что неспроста та жила с неба свесилась, и что как есть всё сие самое правдивое попущение Божие.

Народ, кто веру твёрдую имел, стоять возле жилы отказался.

И вот однажды, когда сын старосты села нёс отцовское послушание возле чуда, произошло ещё более удивительное происшествие...

Ночью задремал сынишка в помыслах горделивых о дожде и, стоя на полынной духоте, вдруг став падать, не думая, схватился за верёвку... Повис... и, опомнился!

Взорвалось сердце в груди мальчонки, да так сильно заколотилось, что наверно в селе слышно было, как оно к горлу подпрыгнуло и забилося. В мгновение отрок от сна явился. «Что будет?! Ой, беда! Ведь за верёвку дёрнул! Попадёт от отца! Мужики, бабы, пропадать!» Хотел бежать! Остановился. Назад к верёвке! Остановился. Или в село?! И опять встал. Сердце колотится так бойко, что – вон из груди! Наложил руку, чтоб не выпрыгнуло. Колени, как листочки на ветру, дрожат.

Да вдруг! «Что это?! Упало сверху что? Да как шмякнуло! Ещё и ещё. Монеты сверху кто кидает? По темноте не видно». Расплющил ладонь – шмяк! Тронул – вода?! «Неужто? Дождь?! Батюшки родные! Мать Честна!»

И верно. Как грянул гром, да ливануло, что из ведра впрямь! Словно глазом моргнуть сынишка старосты от маковки до пят – будто из реки вынутый. Побежал счастливый в поселение. А народ от радости уж на улицы высыпал – пляшет посреди ночи, ликует, голосит, не насытится... Тут чадце старостино вбегаёт. Толпа ему: «Годи! Пошто верёвку бросил без глаза?» Он в ноги. Мол, так и так: «Повис! Тут и полило!»

Земляки быстро связь перекинули между верёвкой и дождём, и на утро приготовились идти гуртом в поле, к Чуду.

Едва солнышко выглянуло – сельчане при праздничных рубахах, в сапогах с голенищами, салом натёртых, выступают. Звали батюшку, но тот ответил отказом. Не обиделись, а только посмеялись. Гармонь с собой прихватили. Вышли за околицу – песни заорали.

Идут словно на свадьбу. Подошли. Встали кругом. Старшой и «мужик уважаемый», в белой рубахе с красной рюшкой да кушаком, выступил вперёд, бабам подмигивая. Все зычно ему: «Давай, Фёдор! Тяни! Опрокидывай небо!»

Взялся мозолистыми ручищами – и раз! Отошёл. Ливануло! С полчаса дождь шумел, дюже добро пролил...

С той поры привыкли сельчане к верёвке. Как дождя или снегу просить? Подходи – дёргай! Никому отказа нету. Все на верёвке мозоли натёрли, окромя старичка да батюшки. Полить огород? Приходи к верёвке. Посушить когда? Солнца ясного? На, тронь жилу!

Всё бы так хорошо, да одна оказия – невпопад. Тут тебе в аккурат влаги, а сосед в поле работать выходит.

По дождю неловко трудиться. Вот и обижаться начали сельчане. Одним дождь подавай, другим – солнце. А мальчонки раз, посреди июля, снегопад сдёрнули – на салазках покатаются. Пори их, опосля того, не пори – гектар заморозили...

Вышла, такой стороной, от верёвки распря великая!

Каждый от Чуда своего желает. Так и ходят, так и дёргают. С каким помыслом подойдёшь, с того и получи.

Завраждавались две старухи, зазавидовались. Одна тайком в поле к верёвке граду просить, дабы соседский урожай побить, с помыслом жестоким: «Пущай и мой достаток погибнет, но змеюге той незарадоваться!» Дорвалась, сердечная! И верно – незарадовалась с соседкою, а вместе с ними и всё село. Град, аж с куриное яйцо, весь урожай побил. Крыши поломал, а где и наскрозь избёнки просёк.

Почесали затылки мужики. Что тут делать? Всякий сельчанин уже страсть к верёвке возымел. Так и глядит в поле на жилу, так и смотрит, как опередить и для себя воды потребовать. Однако же, тянет один, а мокнут все.

Про речку и колодцы давно забыли. Уж не то что для скотины или посадкам воды, а и для самовара – и то к верёвке тянутся. И вот тебе разница и раздор на селе: одни чайком затягиваются, а другие в дождливой жиже углебаются.

Мыслили пользу великую от верёвки иметь, да поначалу так и было, а вот теперь, когда всякий по похотям дёргает – разор и беда, и разруха, и смятение, и междоусобица неслыханные.

Верёвку уж всю измызгали, измозолили, изнурили, а измождение селу не уменьшилось – только прибавилось. Соседние деревни посмеиваются, а может, и завидуют, ведь, поди, хотя и по-худому выходит, а всё-таки чудеса подобные не при каждом дворе изыскиваются...

И вот раз, уже под яблочный Спас, пошёл, «мужик уважаемый», Фёдор для скотины воды сдёрнуть...

Вышел только за калитку, а сосед напротив, что раненый с войны вернулся, тут же намерение его угадал, потому, как самому не дождя, а впротиву того – солнца желалось. Долго не думая, заковылял за Фёдором. Тот шагу прибавит, и раненый также. Фёдор припустит – и раненый за ним, только ковыляет скоррише.

Захватила их побег бабка и за родными припустила; ей в снегу для погреба потребность вдруг случилась неслыханная.

Бабку ту хозяйка, корову доившая, заметила. Она в аккурат детишек из школы поджидала, и сильно ей противуречилось, потому, как если за дождём бабка побежала, чтобы ливень сыночков не замочил...

За хозяйкою тою другая потянулась, а за нею третья.

Глядь: четверо мужиков возля магазина стояли и, узрев неладное в побеге бабьем, по той же дороге за ними поторопились.

Через окно староста увидел – и жену, что в доме была, окликнул: «Кабы худа, не вышло, Прасковья!» И уж на ходу, к верёвке, руки в рукава пиджаковы вдевает. Прасковья от печи восклонила: «Кудай-то мой?»

И, свекровь, кликнув, за мужем пошла...

Остальные сельчане из домов высыпали, потому, как за верёвку испугались: «Неужто кто украсть деет? Почто всё село спасать побежало?» И топ—топ в поле...

Фёдор с раненым уж бегут; бабки ещё поспешают, а последние токмо шагом вознамериваются. Но вот уже, как к верёвке близко, так тогда всё село чуть не с криком побегло...

Фёдор верёвку схватил. Тут и раненый глядь. Оба к себе тянут, орут, друг друга пинают, ругаются. Бабка с бабами подоспела – за верёвку также... Вцепились. Визжат, тянут. Моченьки нету! Глядишь, мужики подбежали. По головам идут, свистят, гикают, за жилу хватаются...

Вот и всё село слетелось: кричат, бьются, друг друга локтями отталкивают, давят, клянут, наваливают, орут – спасу нет!

Тут тебе и дождь хлынул, и пурга заваяла, и солнце зажгло, как из печки! По правде сказать, вся община на верёвке повисла... Да вдруг и лопнуло наверху за облаком... И полетел из тучи конец верёвки на землю, сельчанам на морды.

Оборвали...!

Стихли вдруг, и бабы и мужики. Только друг на друга странно озираются да глазами хлопают. Маненько снегом веет на солнцепёке, а так погода тихая сразу установилась...

И вот посреди этой тишины недоуменной и посреди их всех, на землю повалившихся, выступает наш старичок, что «по волюшке», и такие речи говорит: «Где бы вам совет Христов не слушати и стариков, убелённых сединами, презирать? Не теперь ли мне, грешному, обременить вас мудрым советом, когда вы от страстной воли своей свободу возымели...?»

Оглядел он тут сердешных. Никто не останавливал...

– Всё ропотом горделивым вы Бога прогневлили и засуху терпеть не желали. По своей волюшке от Неба требовали, о смирении позабыв. Что ж пришло, когда Владыко вам угодное сотворил? Пошло прахом хозяйство, оттого что воли единой, воли Божией между людьми не было. Когда бы все едины исправились – тогда мир и добро, и достаток великий! А, когда же каждый за себя – тут разор, и от достатка доброго и от полушки щедрой – избежание.

Эта верёвка вожжой для сельчан сделалась, и впряглись вы в неё сами по доброй волюшке, и себя сами своею же страстью загнали. Когда бы признали волю Божию с неба – вот тутошнею, сердечною своею волею – больше добра тогда нам было! Вы тогда под единым небом, как под Единым Богом ходили бы... А вот теперь, знаете, чем для нас эта жила с облака явилась? И учителем явилась и врачевателем, потому, как верёвка сия страсть и алчность в нас обнаружила, и не то, что мы небо на землю тащили... Нет, не то. А то, что верёвка мудрая, село наше значитца, на Небо тянула... И то значитца, что в верёвке той мы, ноня, воспалившись страстью, страсть свою оборвали. А посему врачеванию и учению Божиему, таперича, счастливое завершение обретаетца...»

Сказав так, старичок перекрестился, вздохнул и пошёл прочь. Сельчане же долго сидели и верёвку в руках держали, и на оборванный конец дивились.

А пуще же дивились на то, что по сих словах мудреца простенького в душах их удивительная жила к Богу протянулась, прочнее которой уж никакой силы на Земле не было, и оборваться которой вовек уж никогда не было возможно, подобно чудной сей верёвке или этому... рассказу».

ЖИЗНЬ

Раннее, морозное, в солнце утро. Хочется, до щемящей боли в душе, умереть сладко, тихо и незаметно.

Берёзы в селе стоят от моего окна далеко в громадах небесной синевы, облитые ярким солнцем.

Воздух недвижим. Время иссякло, как иссякает родник.

В доме за ночь стало холодно. Дом словно висит в холоде.

Из проёма окна земли не видно, только молчание далеко отстоящих берёзовых шатров.

Все сияет солнцем: дрова, плетень, даже не сошедший грустный, серый снег.

Я выхожу на крыльцо счастливым, набросив на плечи старый, поеденный молью тулуп, с тугим и тщетным запахом табака. Солнце из радостного, искромётного кувшина своего заливает меня целиком, так что я от восхищения и необъяснимого счастья вдыхаю, до боли в лёгких, звонкий утренний свет, смешанный с морозным, бодрящим воздухом.

Поодаль, по грунтовой дороге, удивительно и страшно, что босиком, идёт, давя хрупкие ледяные лужицы, в сторону сельского «журавля» дед Афанасий. Повизгивает ручками вёдер и, увидев меня, кричит осипшим горлом: «Прогнала за водой! Во, какая!» Звякает жестянками, весело, как ребёнок, щурится на солнце и кричит, кричит: «Во, какая жизнь! Ка – ка – я жи – и – и – знь...!»

(конец)

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА

Она высока ростом, душою проста и в регентской школе учится только блестяще.

Высокие оценки воспринимает для себя не как награду, а как нечто заурядное, обыкновенное и само собою разумеющееся.

В общежитии спит на гладильной доске, и, всегда ложится последней, потому что её «кровать» случается до самого позднего часа нуждою крайнюю какой-нибудь вертявой сокурснице.

Часто ходит на богослужения, прилежно постится и молится; говорит не громко и короткими, обдуманно фразами; никогда не спорит. Всё это, в сочетании с гладильной доской, представляется в умах её подруг явлением крайне романтическим и выразительным. Её почитают за тайную аскетку и пророчат монашеское поприще...

Ровно через год после её поступления в регентскую школу, она, однажды, проходя по кленовой аллее, мимо, из красного кирпича, стен семинарии, увидела вдруг возле себя знакомое лицо...

В то же мгновение, словно кто плеснул кипятком ей на сердце! Она узнала его! Он был из одного с нею города, и притом – одноклассник.

Сердце её зашлось и кровь больно и настойчиво застучала в висках. Она отошла немного в сторону и остановилась.

Илья не замечал её и, с чувством жестикулируя руками, разговаривал с друзьями, согласно кивавшими ему на все захватывающие перипетии повествования...

Воспоминания, столь болезненные и столь дорогие для неё, в одно мгновение рванулись из глубины души и стали явью...

Твёрдый ком в горле прервал дыхание.

Она, испугавшись его вдруг неожиданного, и при этом самого «простого» появления, и вдруг самой неожиданной и «простой» близости к себе, хотела идти со всем дрожащим внутри и подкашивающим ноги трепетом, и не смогла... Покачнулась и остановилась... И вновь пошла, и опять остановилась...

До скамеечки было несколько шагов... Она не могла, но, наконец, она сделала их и присела. Молитва сбивалась и терялась взволнованным умом...

Она вспомнила теперь, как два последних школьных года в её родном городе пронеслись ярко, живо и незаметно.

А сейчас под сердцем разлилось нечто ледяное, дрожащее и даже режущее...

Она любила Илию и не сводила с него глаз все последние два года обучения в школе. Он же совсем ничего не знал о её любви и встречался с другой их одноклассницей. Она писала ему стихи и прятала, даже от матери, взволнованные проникновенные, трогательные строки, над которыми ночами проливала столько слез...

Разве что один священник знал, что происходит с юной девичьей душой. Знал и не мог помочь, и только молился на коленях за неё и за всех долго, до слёз, и не мог себе простить молитвенной немощи и неспособности «руководствуясь духом мудрости» наставлять ко спасению. Накладывая заношенную, почти засаленную епитрахиль на её чудную, благоухающую головку, он грустно смотрел вверх и сбивчиво, всегда почему-то сбивчиво, читал разрешительную молитву...

Однажды она была в кино и там застала Илию с подружкой...

После сеанса, не зная почему, пошла за ними в горсад и увидела их обоих, бесконечно счастливых и позабывших все на свете, в кустах сирени; и увидела то, как он страстно целовал её, эту длинноногую и бледную...

Они ушли, а она упала на случившуюся в парке скамью, поднимавшуюся из, занесённой золотыми берёзовыми листьями, земли всего лишь одной – единственной старой и темной от времени доской, и пролежала на ней в беспомощности много времени, и не могла очнуться, и только холод ночи пробудил её дрожащее тело...

Мать не узнала дочь... А она дала себе слово забыть Илию навсегда.

Сама собою, как-то незаметно стала спать на жёстком, ровном и холодном, напоминавшем короткую и твёрдую скамью в городском саду...

А в регентской школе, страшно не высыпаясь, мучаясь усталостью во всем теле, неизменно до позднего часа не преклоняла главы, пока, наконец, не освободилась для неё... гладильная доска.

(конец)

ЛОЗА НЕБЕС

В её окно с густой виноградной небесной ветви свешивалась сочная звёздная лоза.

Звёзды словно сыпались в маленькую уютную комнатку, занесённую дерзновенно человеческою мыслью на стометровую высоту многоэтажного дома.

Ночь была черна и холодна, и звёзды пылали...

Её не было в квартире, и она не могла видеть, как под утро пошёл снег, и метель усыпала месяц белым пухом и заглушила звёзды....

В воскресенье утром она была в храме, что на Никитском мосту. И священник с амвона говорил в проповеди о христианах; об их образе жизни; о Боге, который «питает верующих в Него Своей Благодатию».

Священник, невысокий и полный, круглолицый человек среднего возраста говорил ещё, что настоящие христиане питаются Благодатию от Бога так же, как грозди винограда насыщаются живительными соками от лозы. И, что есть среди нас такие христиане, которые сами для народа стали, «как рождия»... И что чрез них народ питается великою силою для жизни! И что Радость, которою народ от них питается, прямо происходит от Бога! И, что достоительно называть таких людей – святыми...

Потом было Причастие. Потом батюшка вынес крест для целования. И когда подошла её очередь целовать крест, и она приложилась... Чрез губы её, которыми прильнула к ногам Спасителя, в душу, в тело и ум, в само сознание и во все чувства влетела вдруг великая радость и сила! И счастье, словно озарение, словно ликующая белая Голубица, впорхнуло в измученную душу и затрепетало в открывшемся в одно мгновение великом небосводе надежды и веры... И огромная красивая, огненная заря вспыхнула в её жизни и озарила эту жизнь навечно!

Когда она шла из церкви и проходила ворота, и размышляла о том, что сейчас с нею произошло, – нищий, сидевший на пустой бумажной коробке, спросил милостыню.... Она подала. А он, всмотревшись в её задумчивое лицо, сказал, что в ней «душа светится». И от этого ей стало ещё теплее...

Словно распахнулось всё внутри, и разлетелись ещё дальше, и без того безбрежные, границы непостижимой, странной синевы и дали. И Голубице ещё привольнее стало летать в сказочно-прекрасных, ангельских просторах. И она ясно ощутила себя виноградною гроздью на Лозе...

Лоза протянулась откуда-то прямо к сердцу. Так всё оставалось с нею и дома. И весь тот вечер, пока она не уснула, Лоза цвела в душе, и Голубица привольно порхала в невероятно-радостных небесных раздольях надежды и любви...

ПАРИЖ

В пепельно-серый и сырой балтийский воздух, над бескрайнею степью моря, черными, средневековыми стенами, выставлен старый рыцарский город...

По его гранитным переулкам ходят потомки чуди, с особой тоскою души в обветренных глазах.

Современно одетые люди столь сильно контрастируют с древним духом величественно-благородных домов, что кажутся ненужными, случайными странниками неведующими, куда им идти.

Башня тевтонских братьев голо вздымается над городом и морем, словно высматривая в холодной хляби корабли римских легатов-крестителей.... А на опустевшем рынке, совсем рядом с башней, в толпе матросов, продавая за большие «тыщи» косметику, стоит невысокого роста, с «животом» и короткой бородкой, человечек. Моряки не верят, что зеркальце и какие-то разноцветные порошки в пенальчике, из самого Парижа привезены. На их вопрос, человечек смеётся, словно кашляет, и давит из себя: «Увы! Увы! Это Париж! Да! Хе – Хе! Увы, Париж!»

Матросам косметика ни к чему, но они столпились и смотрят, с замиранием сердца, на «хорошую жизнь», и почти у каждого сейчас на душе щемящая тоска о том, что так хотелось им увидеть и услышать, а ведь не увидели и не услышали; и хотя бы только одним глазом-то мечталось посмотреть, а ведь и не посмотрели; и только-то один-единственный вздох сделать, и не сделали, в той самой счастливой, сказочной, чудесной стране – «загранице»!

Матросы смотрят, и блестят глаза под бескозыркой, а низенький и плотненький мужичек всё кашляет и давит из себя: «Увы! Хе-хе! Париж! Париж!»

(конец)

САМОУБИЙСТВО

«Должно быть многим из людей, хотя бы один раз в жизни случалось, вольно или невольно, побывать в том необъяснимом состоянии души и духа, когда вдруг всем своим простым разумением, начинаешь понимать, что прежнее твоё пребывание на земле было подобно пребыванию праха, летящего по произволу сумасбродного ветра, а представление о своём мессианском предназначении в жизни, которое, как ты сам о себе вообразил, совершенно расходится с тем предназначением, к которому призывает тебя сумасшедшее общество.

Вся эта разница в представлениях порождает необъяснимый нервический дух. Сей нервический дух может быть известен большинству живущих или живших когда-либо на земле, но далеко не каждому; и далеко не всем знакомо чувство отчаяния, переживаемое в этом состоянии человеком.

Частые, потом беспрестанные, а затем и слившиеся в один адский, непрекращающийся гул, переживания тоски и собственной ущербности, приводят несчастного, наконец, к идее, которой надлежало бы, по внутреннему его убеждению, избавить многострадальную жизнь одинокого человека от всех самых нелепых скорбей и предательств, предоставляемых творческой личности, в невероятном избытке, этим странным скоплением человекоподобных существ, которые, почему-то, называют себя цивилизованным обществом....

Если бы бунтующий дух мой пустился распространяться по поводам, побуждающим человека на этот самый отчаянный шаг, на который возможно только решиться кому-либо из намеревающихся жить, а не приговорённых к жизни по мимо воли, то скромный рассказ сей, занял бы тотчас место романа, и вместе с тем место скуки....

Ни в коем случае не желая такого неблагоприятного для моего повествования исхода, решусь ограничиться лишь кратким сообщением о том, что главным и определяющим поводом, к своему убийству было следующее: «Я хотел поднять на себя руку, оттого, что было невероятно любопытно – «что же там, в конце концов, за смертным одром»? Да ещё из гордости – никто ведь не кончал жизнь только из одного неукротимого стремления постигнуть неведомое?

Весь четвёртый курс обучения в Тверском университете эта идея витала над моей головой, а к концу оногo поселилась в ней окончательно.

Отправившись на летние каникулы 2009 года, я вместе с тем отправился на добычу денег, которые намеревался приобрести самым бессовестным образом. Бессовестность эта заключалась в том, что, набрав в редакции нашей самой популярной газеты огромную стопку газет со своей собственной статьёй, я, встав в центре города и многолюдной толпы, начал продавать крайнее возмущение безнравственным состоянием общества, выраженным в виде печатных знаков, этому же обществу...

Так, как торговать собственной совестью дело далеко не самое приятное, то, будучи неприятным, дело это должно было получить самое приятное вознаграждение. Я не ошибся в расчётах и, через самое короткое время, в моих дырявых карманах зашелестели хрустящие купюры с изображением дяденек, карманы которых были далеко не дырявы.

Одним словом с деньгами, на которые можно было купить, хоть тот час, подержанный «мотор», я приехал в Петербург.

Мои двадцать два года нисколько не удивили Северную столицу, зато каменные одежды города приятно поразили философа. Надо признаться: было нечто особенное в гранитных размышлениях столичного гиганта.

Впрочем, поздняя осень в этом городе произвела на меня большее впечатление.

Златая осень – пора самоубийств! Прекрасная пора! Петербург, с его роскошной, старинной лепниной, с качающимися под стенами домов, почти облетевшими ветвями, с усталыми золотой листвой, тротуарами, наилучшим образом подходил моему, замирающему от всякой красоты, сердцу...

Восприятие же сердечное обострялось ещё и потому, что, как думал я, всё это уже в последний раз.

Из единственного и неукротимого стремления к красоте прошлого века, я снял великолепный номер на самом верху «Астории» с окнами на Исаакиевский собор. Купил, опять же, наверное, из единственного и неукротимого стремления к красоте, однозарядный пистолет пушкинской эпохи; приобрёл, кроме всего прочего, бутылочку шампанского, да ещё пару бутылок дорогого херсонского вина; витиеватый, бронзовый подсвечник на три свечи, той же старинной работы, и принялся поджидать долгожданного вечера....

Одним словом, деньги и антикварный магазин на «Невке», создали в моем номере неповторимый уют дворянской берлоги XIX-го века!

Друзья мои! сколько не размышляй о прошлом, сколько не вспоминай, будущее все равно превратит ваше настоящее в печальный, а подчас и громоздкий хлам, пригодный, разве что для демонстрации в музее или торговли в антиквариатном магазине!

Позднеоктябрьский день выдался на удивление ясным, но и достаточно прохладным, чтобы к тому времени, когда солнечный шар коснулся каменного горизонта, большинство горожан попрятались в свои квартиры.

Я сидел в глубоком кресле, пощёлкивая кремнёвым затвором «пушкинского» пистолета. На мне покоилась белая рубаха, а на сердце лежали мрачные раздумья. Ноги попирали журнальный столик, на котором, одновременно с ними, находился подсвечник, освещавший, тремя натуральными восковыми свечами, гостиничный номер; стояла рядом уничтоженная бутылка советского шампанского, вместе с нею недопитое стеклянное изваяние «херсонского», наполовину осушённый бокал, банка американской ветчины, которую там кормят собак, жестяная коробка с пыжами и порохом, и валялись, разбросанные в философском беспорядке, игральные карты.

Темнота за окном сгущалась и отсвет багрового заходящего солнца от купола «Исаакия» становился все более зловещим. Жёлтый огонь с подсвечника тоже все более разгорался, и, казалось, сила уходящего светила переливалась в пламя моих свечей.

Приятно покоясь в воздушной мягкости кресла, я разглядывал дуло и весь пистолет, и размышлял: «Через несколько минут меня не будет... Где-нибудь во вселенной нажмётся выключатель и сознание погаснет... Нет никаких оснований полагать, что его «кто-то» включит вновь.... Может быть вот это продолговатое дуло символизирует собою мечту человечества о скорейшем прекращении спек-

такля-фарса именуемого жизнью? Может быть, специально изобрели это хитроумное устройство, этот курок-выключатель и, размножив, разослали всем народам, во все концы земли, чтобы те, видя простоту, лёгкость и доступность смерти, имели неоспоримое доказательство своему безумству в ощущении возможности самого короткого прекращения жизни, той самой жизни, за которую они так неистово держались прежде...

Люди, распугивая всю вселенную, стреляют друг в друга денно и ночью.... Кроме потрясённых и разогнанных пальбой земных животных, они заставляют разлетаться в страхе случайно забредшие в нашу галактику кометы...

Безобидные куски льда, пролетая мимо, уносятся прочь, услышав невообразимую перестрелку; солидные, увесистые метеориты шарахаются в безумной панике, стараясь однако сохранить внутреннее спокойствие вечного космоса... Такова витальная страсть «разумных»?!

Человечество, призванное к жизни в самых различных своих проявлениях, изобрело бесчисленное множество язвительных приспособлений, уничтожающих эту жизнь, стирающих с лица земли всякое проявление здравого глубокомыслия. Ещё не прекращались ни на одну секунду самые бессмысленные и кровопролитнейшие войны мира, именно с той самой поры, когда вселенское братство людей не на шутку принялось осознавать себя свободомыслящим и независимым ни от природы, ни от Бога, космическим феноменом...

О, нет! Прошу вас не говорите мне, что люди хотят жить! Нет! Они, сами того не сознавая, только и думают о том, как бы устроить свою смерть более безболезненной, простой и комфортной!

Мы все только и делаем, что обманываем друг друга и себя. Все, все!

Все движутся, с неизбежностью сомнамбулы к смерти; ходят ли они при этом, лежат ли, сидят ли, пишут ли книги, выращивают ли еду или теряют время, надоедают ли друг другу, забиваются ли в затхлые келии, или дышат просторным воздухом морей; так или иначе, все, все, рано или поздно умрут...

И великолепно зная об этом, всё равно разыгрывают самые горячие эпизоды самого наивного жизнелюбия. Они выдумывают гуманизм, этические ценности, нравственно-положительное, нравственно-отрицательное, политические интриги, идеологические спекуляции. И это, всё единственно для того, чтобы затмить себе ум, чтобы, хотя на короткое и отчаянное время, подбросить повыше в небо мозги и насладиться безумством невесомости... И ведь прекрасно, изумительно, блистательно знают, что всё равно мозги их упадут на землю, и расшибутся вдребезги, вусмерть, навсегда! О! безумцы!..»

Я вновь налил себе «херсонского» и, вновь откинулся в кресле...

Отчего-то захотелось подумать о том, а кто же безумнее всех из числа безумно живущих? И я, с невероятной лёгкостью, подумал что это, конечно же – христиане!

«Несчастные! Мне даже сейчас, перед лицом смерти, невыносимо жалко их бедные нейрончики! Да! Да! Их сумасбродные, жалкие и наивные нейрончики! Всю ту нервную ткань, в которой сосредоточена их странная вера. Придёт время, и они сгниют в чернозёме, так и не усмотрев, что даже их Бог, в котором они полагают своё спасение, был убит в этом мире, в котором они, сколько не тужься, не смогут быть выше и сильнее Его.

Несчастные! Их вера началась с крестной смерти. Они даже носят это орудие смерти на своих шеях... Они даже не могут понять...» Но тут что-то прожгло душу, мои, отравленные алкоголем, внутренности, всё существо...!

«Воскресение...» – донеслось из бездны напрасно бьющегося сердца...

«Ах, да! Воскресение!» – подумал я, и нахмурил брови. **«Воскресение...»**

«Дурацкое вино!» Отшвырнул недопитый бокал, и тот тут же разбился, и вино расплескалось по бархатному ковру. **«Нежный хрусталь не терпит страстей самоубийц!»** Я схватил горлышко шампанского и опрокинул его в глотку. **«Бездна»** моя зашипела и забурлила...

Итак, с бутылкою, пистолетом, жестяною коробкою с порохом и пыжами, я присел на подоконник.

Вино и шампанское делали своё дело: мысли горячились и водили в голове иногда упоительные, а иногда несносные хороводы.

Самые нелепые и страшные, никогда прежде не посещавшие мой пытливый ум, мысли, вдруг принялись слетаться в несчастную голову, как ведьмы на шабаш.

Тем не менее, назло всем идеям, кружившейся головы, я стал преспокойно набивать порохом ствол.

«Да, христиане безумны, как безумна сама жизнь... – думал я. – Душно... Безумство храбрых... Душно... Открою окно...»

И вот, растворив, по очереди, обе половины окна, я только теперь, со стволом, набитым порохом и загнанной туда, пыжами пульей, увидел, как хорош Петербург! Как хорош Петербург в конце октября, для стоящего у своего «выключателя» молодого человека!

Петербург летел в открытые для последнего приветствия глаза мои.... Летел во всей возможной своей упоительной красоте взмахнувшей крылами осени!...

Солнце уже село. Внизу под этажами медленно зажигались фонари. Под окнами проносились опалевшие иномарки. От, взрезанного бритвой холода, заката, по всему городу, по колоннам и скульптурам, по асфальтированным дорожкам и готическим переулкам, по всему неуютному и тревожному разбросу людей и зданий, проливался бледный пурпурный свет...

Этот таинственный свет, струясь, облегал купол Исаакиевского собора, скользил по карнизам домов, щедро украшенных витиеватой лепниной и, через некоторое мгновение, поднявшись над копошащимися внизу прохожими, летел далее, в ему одному известном философском пространстве. Мне стало, несколько жаль людей, чьи вдетые в польта тела, уже не обливались более красным мистическим светом и от этого были лишены вечно существовавшей до них и без них, и намеревавшейся существовать и после их безумной жизни, космической красоты...

Нелепые прохожие под моим балконом не могли встать на грани жизни и смерти так, как это сделал я. И по этой невероятно простой причине были неспособны любоваться белым светом далеко зажегшейся в небе звезды с такою силою чувств, с какою любовался я! Они не могли подлинно жить, ибо вся полнота жизни скапливается там, где жизнь граничит со смертью...

Ветер шевельнул прядь волос на том виске, к которому я поднёс холодное дуло пистолета. И поднося безразличное пустое железо к сокровенной тайне всего мироздания – к уму человека, я вдруг явственно ощутил всю радостную, именно радостную прелесть моей власти над жизнью, над тою бессмысленною, наивной и никчёмною жизнью, с которой я теперь расставался...

«Если я могу прекратить жизнь, – думал я. – То, следовательно, я властен над жизнью, над всем, что могу осмыслить и передумать в своём сознании.... Ведь если «нечто» становится в определённый момент способным прекратить само себя,

и в том числе навсегда прекратить, то, разумеется, то, что оно может обуздать и прекратить, подвластно совершенным образом «силе прекращающей»...?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.